**ОДИНОКИЙ**

Одинокий – это фамилия у него такая.

Иван Алексеевич сидит на крылечке старой, чуть покосившейся, небольшой деревенской избы в ватнике-стёганке и синей шерстяной динамовской шапочке. Рядом с Иваном Алексеевичем лежит собачка, маленькая рыженькая, лайка карело-финская, Гаммой зовут, – прибилась она к Ивану Алексеевичу вот уже две недели как: так вместе и живут. Хозяева бросили её, не забрали с собой в город, старая стала, а в городе с ней проблемы будут, специальную службу надо будет вызывать, чтобы усыпили, а тут, в деревне, бог приберёт.

Наступил ноябрь, последние дачники уезжают в город домой, скоро снег ляжет. И Табункины, и Загоруйко уезжают, это соседи Ивана Алексеевича Одинокого. Хотя они и через несколько домов от Ивана Алексеевича жили, но по-деревенски всё равно – соседи: ближе-то никого нет. Они на машинах, побросали в них барахлишко своё самое необходимое, дома заперли, и – до следующей весны. Вот так некоторые пенсионеры теперь и существуют: зиму в городе, лето в деревне. Загоруйко настаивает:

– Иван Алексеевич, едем с нами. Не дело это – ты тут один остаешься. Едем – место в машине у нас есть.

Чувствует Загоруйко, что может беда случиться.

– Нет, нет, нет, соседи дорогие, – отнекивается Иван Алексеевич, – за мной дочка не сегодня-завтра приедет. Я же уже жду её. Должна была ещё вчера приехать. Да и какой же я один? Вон напротив тётя Нюра, и ещё бабушка старенькая в конце второго прядка живет. Так что мы тут ещё поживем.

– Ну, смотри, Иван Алексеевич. Ты бы дал нам телефон дочери, мы бы в город-то приехали, позвонили ей, проконтролировали.

В деревне связи не было – чтобы связаться по мобильному, надо было выходить на трассу, а до неё три километра.

– Нет, нет, нет – она не велела. Сказала – приедет.

И Табункины, и Загоруйко с недоверием смотрят на Ивана Алексеевича: чувствуют они, что никакая дочка за ним уже никогда не приедет. Видели они, кто месяц назад привез сюда этого Ивана Алексеевича, и всё они по-своему поняли. А привезли его сюда, в деревню, два молодых человека совершенно бандитского вида: в черных бейсболках, в наглухо застегнутых кожаных косухах, в высоких армейских ботинках. Затащили в эту избу небольшую, давно уже, видимо, для такого дела приготовленную, две сумки здоровенных да два чемодана, из поленницы дров в дом натаскали солидно, у печки свалили, да в сарай – две канистры с керосином. В конце сентября ещё это было.

Один из них зашел к Загоруйко и вежливо так попросил:

– Вы уж присмотрите за дедушкой пару дней, дочка к нему при-  
едет не завтра, так послезавтра. Сейчас она ремонт в новой городской квартире заканчивает. Так что эта деревенская развалюха для дедушки вроде маневрового фонда на пару-тройку дней.

Так вот, уже больше месяца прошло. Несмотря на всю вежливость и обходительность, что-то не понравилось в поведении этих ребят и Загоруйко, и Табункиным – что-то было не так, как положено быть, во всей этой ситуации. Они даже обсуждали на другой день произошедшее, а потом уже пришли знакомиться к дедушке.

Иван Алексеевич тоже всё по-своему понял, правда, уже через пару дней, да только гордость не позволила ему на весь мир кричать от стыда, а ведь стыдно стало. Стыдно не за глупость и старость свою, а за дочку. И опять неправильно: стыдно было всё равно за себя.

Бабушек, про которых он помянул, тоже уже забрали в город дети. Пустая остается деревня, один Иван Алексеевич остается. И собачка с ним эта рыженькая.

Продовольственная лавка на колесах, фургон с глупой надписью на борту «Кушай дома», последний раз неделю назад заезжала: водитель Николай заранее всех предупредил, что в ноябре уже не будет в эту деревню возить продукты. Ассортимент у лавки на колёсах был невелик, наименований двадцать-тридцать, но все, что надо, – было: хлеб, растительное масло, сыр, краковская колбаса, бычки в томате, тушенка.   
А если особенного чего-нибудь захочется, то можно и заказать: водитель Николай услужливый мужик, привезёт.

Жену свою Иван Алексеевич Одинокий потерял год назад, отлетела она нежданно-негаданно вместе с ангелами, и остался он один в своей, ставшей сразу большущей несуразной, трехкомнатной квартире, которая еще его тестю, какому-то партийному бонзе советских времен, принадлежала. Одна дочка у него в Праге замужем, другая здесь бизнесом каким-то риелторским занимается. Только не складываются у него семейно-отцовские отношения с дочерями: и замужеством старшей Иван Алексеевич был не очень доволен, и бизнес младшей не одобрял.   
А больше всего не складывались эти отношения из-за того, что внучат у него нет и, видимо, уже и не будет никогда: одной дочери, Марии, что в Праге живет, пятьдесят лет, и другой, Юльке, которая бизнесменша, тоже уже за сорок – так что их пустопорожность воспринимал и характеризовал он, как бессмысленность и бесполезность. Но дочери его оставались убежденными и последовательными участниками движения «чайлдфри».

Несмотря на свои восемьдесят лет с хвостиком, был Иван Алексеевич до последнего времени мужчиной крепким и самостоятельным в том смысле, что обслуживал он себя сам полностью: и в магазины ходил, и за собой по дому убирался, и даже трусы с рубашками свои сам стирал. Была к нему приставлена какая-то женщина, социальный работник, которая и звонила Ивану Алексеевичу, и заходила домой, но он пока что отказывался от её услуг. Потому что раз, а то и два раза в месяц забегала Юлька, забегала не как дочка, а по-деловому как-то: проверит порядок в квартире, есть ли продукты в холодильнике и макароны с рисом в шкафчике, разберёт на вешалке сезонную одёжу, заберёт грязные простыни в постирушку и убежит. Ну, будто чужой человек приходил.

Было в её поведении что-то пацанское, а потому и комплексовала она перед батькой, что ничего девчоночьего не накопила в себе. Да и Иван Алексеевич тоже комплексовал: он стеснялся уже её попрекать, напопрекался за всю-то жизнь, а дочка Юля – просто не хотела обострять отношения, хотя любила она, конечно, папку своего до боли, но какой-то мужской внутренней любовью, которая наружу не выходит, без соплей!

В общем, крепкий мужик был Иван Алексеевич, и без проблем со здоровьем, и жить бы ему лет до ста. Только жизнь свои условия всем нам ставит. Через месяц где-то после смерти супруги догнал его инсульт, поначалу вроде не страшный, только рот на сторону перекосило и шепелявить стал немного, но совсем незаметно. А вот ещё через месяц второй уже шандарахнул, по-взрослому, то есть и в больнице месяц пролежал, и в санатории ещё месяц, но рука правая в норму так и не пришла, неправильно работает, не слушается, а главное: соображал уже плохо, и в памяти провалы образовываться стали. Успокоили его врачи: вроде как деменция это старческая, никуда не денешься, восемьдесят. А только всё, что было пять – десять – пятьдесят лет назад, отлично помнилось, а вот зачем в магазин пришел, за хлебом или за молоком – не вспоминается: хоть назад домой беги и проверяй – чего там не хватает! А то как-то раз на соседней улице заблудился, не мог понять, как домой пройти, пришлось у прохожих людей спрашивать.

Сейчас, сидючи на крылечке в деревне, Иван Алексеевич смутно начинал соображать, а кое-что даже и вспоминать, причем как что-то чужое, постороннее, его совершенно не касающееся. Весь прошедший год выстраивался в сознании как ряд картинок-кусков, обрывков старой испорченной киноленты, а вся картина произошедшего, которая из них складывалась, была какой-то посторонней или даже абсолютно чужой для самого Ивана Алексеевича.

Почему-то с самого начала вся эта история с квартирой, с обменом её, вспоминалась очень и очень смутно. Вот болезнь супруги,   
больница, операция, похороны – всё очень резко, контрастно, всё отлично помнилось. А дальше – туман, муть, будто расплываются во все стороны из головы мысли разные, а картинка не складывается, как ни напрягайся.

Вроде бы какие-то документы потребовались от Маши, старшей дочери, которая в Праге жила, переоформляли права собственности на квартиру. Маша пыталась тогда забрать его к себе, в Прагу жить, но Иван Алексеевич наотрез отказался. Это он помнил очень хорошо, потому что со скандалом каким-то грандиозным всё это было связано.   
В конце концов было решено, что он с Юлькой будет жить, съедется с ней – но почему-то так и не съехался. Или съехался? Только не помнит сам уже ничего!

А вот что за проблемы с Юлькиным бизнесом потом случились, он ни тогда ничего не понял, а сейчас уж тем более. Вспоминается только сквозь туман, постоянно столбом стоящий в голове, как она сидит на диване напротив папки своего и, покачиваясь, приговаривает:

– Всё обойдётся, всё образуется.

Иван Алексеевич не представлял себе даже – как может он помочь дочке своей любимой и ненаглядной. А потом вроде помог: только опять же – не помнится как! Помнится, у нотариуса бумаги подписывали, а Юлька потом счастливая была и к Машке, сестре своей, в Прагу ненадолго поехала. Звонила папке по телефону каждый день. Сколько времени он не видел Юльку свою – не может вспомнить! Месяц, два, три? Это загадка для его больной головы – лучше и не мучиться. Сказала: сиди, жди, приеду!

Два парня здоровенных, но довольно вежливых, пару раз приходили: какими-то бумажками трясли, говорили, что они какие-то доверенные лица и что по поручению Юльки его они должны перевезти Ивана Алексеевича ненадолго на новое место жительства. Они даже помогали собраться ему, подсказывали, что надо взять с собой на несколько дней, максимум на неделю, пока Юлия Ивановна приводит в божеский вид новую их квартиру. Но даже и эту ситуацию, кажется, главную, которая и повлияла самым существенным образом на его современное деревенское положение, он со стопроцентной достоверностью вспомнить не мог.

Интересно, что Иван Алексеевич если и не понимал, в чём заключается его заболевание, то в чём оно проявляется, знал, и что происходит с его памятью, он тоже знал. Он даже мог внутренне посмеиваться над собой: ну, ничего – лет через пятьдесят я, может быть, и вчерашний день вспомню.

Во второй половине дня пошел снег. Он повалил крупными хлопьями и, ложась на мерзлую землю, уже не таял. Он валил такой густой, что в окошко нельзя было разглядеть ни дорогу, ни избы, которые всегда так ярко чернели на той стороне улицы. Иван Алексеевич, стоя у окна, любовался на новое состояние природы.

Если это снеговой заряд, то странный – почему-то без ветра. Снег прекратился минут через двадцать, и лишь редкие снежинки крутились в воздухе. Мир за эти минуты словно изменился: стал не только чище и светлее, но и перспектива, дали, которые в горизонт упираются, выглядели четче и рельефнее.

Он подошел в печке-голландке, потрогал – она была ещё теплая, чуть-чуть теплая. Надо было снова топить. А то ветром выдует, избу выстудит – грей её потом.

Дрова в доме, которые натаскали ребята, кончались, но в сараюшке стояла ещё большая целая поленница берёзовых: Иван Алексеевич это помнил. Он открыл дверку своей голландки, поджег пару шкурок бересты и бросил внутрь, аккуратно домиком накрыв её горящую двумя половинками берёзовых поленьев.

В избе уже собирались сумерки, ноябрьские сумерки ранние. Иван Алексеевич щелкнул выключателем, света не было, электричество отключили. Хотя – так и обещали: с первого ноября деревню от электрических сетей отрубят. Он налил из ведра в чайник воды и, сняв чугунную крышечку с варочной конфорки, поставил его греться.

Очень быстро печка загудела, было это притягательно – сидеть и любоваться на играющие язычки пламени, они завораживали.

Интересно, что есть не хотелось. Вот чайку свежезаваренного с кусочком сахарка он попьёт с удовольствием. И Гамма не ела ничего уже который день – последнюю банку тушенки Иван Алексеевич вчера открыл и в миску собачью вывалил половину, но собака к ней даже не подошла. И сейчас она лежала, свернувшись калачиком, у ног своего нового хозяина, который сидел на низенькой табуретке у печки и любовался воркующим языкастым пламенем.

Снег шел всю ночь, причем хорошо шел, уверенно, плотно. Утром входную дверь Иван Алексеевич открыть не смог – завалило. Он подошел к окну, но ничего в темени кромешной видно не было, только мощные порывы ветра ощущались всем корпусом старой избы – казалось, она даже кряхтела. Снег продолжал валить.

«Ну вот и всё! – подумалось. – Как дрова закончатся, так и я буду собираться в путь последний».

Пришлось зажигать на столе керосиновую лампу, что Иван Алексеевич делать не любил: не то чтобы керосин экономил, а просто вонь эта керосиновая ему не нравилась. Была ещё и классическая «летучая мышь», но ей он вообще редко пользовался. Потом снова растапливал свою голландку. Позвал Гамму, но та только взвизгнула сонно, зевнула и осталась лежать на подстилке около входа.

Вот сегодня снег шел уже по-зимнему: в окошко было видно сквозь раздвигающиеся сумерки, что метет настоящая зимняя метель, и ветер закручивает в белёсые рукава и свитки густые снежные потоки. А ещё уж очень не по-детски завывает этот самый серьезный и сердитый ветер в печной трубе.

Когда огонь в печке разыгрался всерьез, а дверку Иван Алексеевич специально не закрывал, чтобы можно было любоваться, Гамма перебралась поближе к теплу. Иван Алексеевич гладил её за ухом и приговаривал:

– Ну что, старушка? Вот и всё! А торопить и звать мы её не будем – будем просто ждать! Она сама придёт.

Поставил и разогрел чайник. Потом поторкался в дверь, но было понятно, что её завалило снегом и у старика просто не хватало сил открыть её. Хотя Иван Алексеевич помнил, что за диваном лежит ещё один топор, домашний, это кроме того рабочего, что в сараюшке. Если уж очень понадобится, то он просто вышибет эту дверь топором – не такая она и серьёзная. Он улегся отдохнуть и задремал.

Когда он проснулся, а точнее очнулся, в комнате было темно, и за окном было темно, и было очень тихо – вьюга прекратилась.

– Гамма, – позвал негромко старик, но в ответ ничего не расслышал.

– Гамма, девочка моя, – позвал он ещё раз, уже громче, в ответ раздалось тихое поскуливание, и что-то было в нем жалобное и просящее.

Старик встал, подошел к двери и, наклонившись, умудрился погладить собаку. Она в ответ лизнула руку. Он в темноте на столе с трудом нашарил спички и затеплил керосиновую лампу.

– Гамма, – позвал он снова, но всё равно ничего не смог разглядеть при этом скудном освещении.

У входной двери, где собака лежала на своей подстилке, старик поставил лампу на пол и погладил псину. Гамма подняла голову, в глазах у неё стояли слёзы и, как показалось Ивану Алексеевичу, выражение крайней усталости. Тут она вся задрожала и затихла.

– Вот и всё, – прошептал старик.

Закопать Гамму, свою последнюю подружку, Иван Алексеевич решил под домом: крышка люка со старинным кованым кольцом, который вел в подпол, находилась прямо рядом с его небольшим кухонным столиком. Правда, старик этим люком ни разу не пользовался, не открывал и даже не представлял, что там, в подполье. Но вот если на улице земля уже промерзла так, что он не сможет нормально закопать свою мертвую подружку, то здесь, под теплым жилым домом, сделать это будет значительно проще.

В подпол полез с «летучей мышью». Там было сухо и очень пыльно: а как же ещё должно быть под землёй. На полке небольшого, грубо сколоченного из горбыля стеллажа стояли несколько забытых бывшими запасливыми хозяевами трехлитровых банок с компотом, в углу на земле валялись старые валенки, рваный ватник и обломок деревянной лопаты, ведра, корзинка.

Земля была мягкая, податливая и действительно тёплая. Старик копал недолго, после чего вылез из подпола, завернул небольшое собачье тельце в самотканый круглый половик, служивший Гамме подстилкой, и, вновь спустившись под дом, пристроил сверток в ямку. Уже закапывая его, заканчивая свою не очень приятную вынужденную миссию, услышал старик (или почудилось!) топтание чьих-то ног на крыльце и обрывки человеческих голосов. Но плотно стоящий туман в голове не давал ему сосредоточиться на этих знаках – мысли его были очень далеко, и связаны они были совсем с другими планами. Старик решил чуть-чуть передохнуть, и сидел он в подпольной темени на перевернутом ведре, когда настойчивые крики вернули его   
к действительности.

– Папка, папка, проснись, открывай двери. Я знаю, что ты дома – дым из трубы идёт.

Старик долго и неуклюже выбирался из подполья, после чего уселся на табурет снова отпыхиваясь.

– Папка, папка, открывай – слышался Машкин голос.

– Сейчас иду, сейчас открою, – бормотал про себя вполголоса старик, с трудом поднимаясь с табуретки.

Никаким снегом дверь входную не заваливало – просто забыл старик, что кроме крючка накидного запер он её ещё и на ключ, и вот теперь ключ этот надо было искать. Слава богу, лежал он в кармане ватника и проблем с поисками удалось избежать. Зато Машка его, влетев в избу, разразилась такой истерикой с матом и прочей руганью, что старик сразу же воспрянул духом и ожил.

– Машенька, может, чайку попьём? Я вскипячу.

– Какой чаёк, папка! Вы тут все с ума посходили, что ли? И Юлька, эта курва рваная, лошадь хромая, в реанимации месяц уже лежит вся в трубках да на ИВЛ, в этой красной зоне ковидной. Я хотела все эти трубки с её рожи противной оборвать, да врачи меня к ней не пропустили. Самолёты не летают из-за карантина. Мы с мужем Вадимом на машине через четыре границы двое суток без сна сюда пилили. Каждую границу с приключениями проходили – нигде не пропускают! Хорошо, что кругом друзья-знакомые есть. Мне ведь люди добрые в Прагу позвонили, что и ты, и Юлька пропали. Загоруйко, этот друг твой новый деревенский, дозвонился, когда мы в Белоруссии уже были, – сволочь такая, сам не мог всё решить тут. И у кого он телефон мой только нашел! А Юлька, зараза такая, ещё этих двух своих идиотов послала к тебе – не сообразила, что у тебя уже не просто старческая деменция, а самый настоящий альцгеймер. Они же должны были тебя и забрать. Ну, слава богу, всё обошлось. Давай в машину и, прошу тебя – ничего отсюда не бери! Пожалуйста – ничего! Шляпу бери – и в машину.   
И никакого чая! И ватник этот свой дурацкий деревенский сними – не поймешь, кто в нем тут ходил.